

Звуки

Но пока мы ограничиваемся книгами — как бы тщательно мы их ни отбирали — и имеем дело лишь с немногими письменными языками, которые в сущности представляют собой провинциальные диалекты, мы рискуем позабыть тот язык, на котором говорят без метафор все вещи и события, — а ведь только он один богат и может служить образцом. Многие оглашаются, но мало что печатается. Кто вспоминает о луче, пробившемся сквозь щели в ставне, когда ставни распахнуты настежь? Никакой научный метод не заменяет необходимости постоянного внимания к жизни. Разве курс истории, или философии, или поэзии, пусть самой избранной, или самое лучшее общество, или самый налаженный обиход могут сравниться с умением видеть все, что показывает нам жизнь? Что ты хотел бы — только читать, быть читателем, или видеть, то есть быть провидцем. Прочти свою судьбу, знай, что лежит перед тобой и шагай в будущее.

В первое лето я не читал книг, я мотыжил бобы. А часто у меня было занятие и получше. Бывало, что я не мог пожертвовать прелестью мгновения ради какой бы то ни было работы — умственной или физической. Я люблю оставлять широкие поля на страницах моей жизни. Иногда летом, после обычного купанья, я с восхода до полудня просиживал у своего залитого солнцем порога, среди сосен, орешника и сумаха, в блаженной задумчивости, в ничем не нарушаемом одиночестве и тишине, а птицы пели вокруг или бесшумно пролетали через мою хижину, пока солнце, заглянув в западное окно, или отдаленный стук колес на дороге не напоминали мне, сколько прошло времени. В такие часы я рос, как растет по ночам кукуруза, и они были полезнее любой физической работы. Эти часы нельзя вычесть из моей жизни, напротив, они были мне дарованы сверх отпущенного срока. Я понял, что разумеют на Востоке под созерцанием, ради которого оставляют работу. Большею частью я не замечал, как течет время. Солнце шло по небу как бы затем, чтобы освещать мой труд; только что было утро — а вот уж и вечер, и ничего памятного не совершено. Я не пел, как поют птицы, я молча улыбался своему неизменному счастью. У воробья, сидевшего на ореховом дереве напротив моих дверей, была своя песенка, а у меня — тихий смешок, приглушенная трель, доносившаяся к нему из моего гнезда. Мои дни не были днями недели, названными по именам языческих богов;^[121] тиканье маятника не рубило и не мельчило их на часы, ибо я жил, как живут индейцы Пури,^[122] которые, как говорят, имеют всего одно слово для обозначения вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня и различают его значение тем, что указывают назад для «вчера», вперед для «завтра» и вверх для «нынешнего дня». Не сомневаюсь, что моим согражданам это показалось бы полной праздностью, но если бы меня судили цветы и птицы со своей точки зрения, меня не в чем было бы упрекнуть. Правда, что человеку надо самому создавать себе дело. В природе день проходит очень спокойно и никто никого не упрекает в лени.

Мой образ жизни давал мне хотя бы то преимущество над всеми, кто вынужден искать развлечений вовне — в обществе или в театре, что для меня развлечением стала сама жизнь, а она никогда не теряла новизны. Это было многоактное, нескончаемое

представление. Если бы мы всегда зарабатывали на жизнь и устраивали ее самым лучшим способом, какой нам известен, мы никогда не знали бы скуки. Следуй влечению своего доброго гения, и он ежечасно будет открывать тебе что-нибудь новое. Приятным времяпрепровождением была для меня и домашняя работа. Когда загрязнялся пол, я подымался пораньше, выставлял всю свою мебель наружу, прямо на траву, забирая в одну охапку и кровать и постель, лил на пол воду, посыпал его белым песком с пруда и скреб добела; поселяне еще только принимались за завтрак, а у меня утреннее солнце успевало так хорошо высушить дом, что я мог снова в него перебираться, и ничто уже не прерывало моих размышлений. Приятно было видеть на траве все мое домашнее имущество, сваленное в кучу, как у цыган, и мои трехногий столик, с которого я не снимал книг, чернил и перьев, очень хорошо выглядел среди сосен и орешника. Вещи тоже казались довольными, что их вынесли, и не стремились обратно. Мне иногда хотелось натянуть над ними тент и так сидеть. Стоило посмотреть, как все это освещается солнцем и обдувается вольным ветром; домашние вещи выглядят куда интереснее, если их вынести из дому. На ближней ветке сидит птичка, под столом растет сушеница, а вокруг его ножек обвиваются побеги ежевики; на земле — сосновые шишки, каштаны и земляничные листья. Казалось, что формы природы перешли в нашу мебель — столы, стулья и кровати — именно потому, что когда-то окружали их.

Мой дом стоял на склоне холма, на самой опушке большого леса, среди молодого сосняка и орешника, в какой-нибудь сотне футов от пруда, куда вела под гору узкая тропинка. Перед домом росла земляника, ежевика, сушеница, зверобой, золотарник, дубняк, карликовая вишня, голубика и земляной орех. В конце мая карликовая вишня (*Cerasus rumila*) обрамляла тропинку зонтичными соцветиями на коротких стеблях, а осенью эти стебли, тяжелые от крупных, красивых вишен, лучами ложились по сторонам тропинки. Желая быть вежливым по отношению к природе, я отведал их, хотя они почти несъедобны. Сумах (*Rhus glabra*) роскошно разросся вокруг дома, пробившись через сделанную мною насыпь, и уже в первый год достиг почти шести футов в высоту. Его широкие, перистые тропические листья выглядели необычно, но красиво. Крупные почки, неожиданно появившиеся в конце весны на сухих ветвях, казавшихся мертвыми, точно по волшебству превратились в грациозные нежно-зеленые побеги до дюйма в диаметре; иногда они принимались расти так безудержно, забывая о слабости своих стеблей, что я, сидя у окна, слышал, как нежная молодая ветвь вдруг падала на землю, точно веер, без малейшего дуновения ветерка, сломленная собственной тяжестью. А в августе крупные гроздья ягод, привлекавшие при цветении множество диких пчел, постепенно окрашивались в ярко-алые бархатистые тона, и снова нежные стебли подламывались под их тяжестью.

Сейчас, в летний день, я сижу у окна, а над моей полянкой кружат ястребы; дикие голуби пролетают передо мной по два — три или садятся на ветви белой сосны позади дома, и воздух полон шумом их крыльев; скопа, или птица-рыболов, рябит стеклянную поверхность пруда и выуживает рыбу; из болота крадется норка и хватает на берегу лягушку; осока гнется под тяжестью болотных птиц, порхающих с места на место; с полчаса назад стал слышен стук железнодорожных вагонов, который то замирает, то снова возникает, точно хлопанье крыльев куропаток, — это едут пассажиры из Бостона за город. Ведь я не настолько удалился от мира, как тот мальчишка, которого, говорят, отдали к фермеру, куда-то к востоку от города, а он скоро сбежал и вернулся домой в самом жалком виде — так он

тосковал. Никогда еще ему не приходилось жить в такой глуши: людей не видно, свистка — и того не слышно! Я сомневаюсь, чтобы во всем штате Массачусетс оставалось сейчас подобное место:

*...стальные рельсы стрелами бегут
К селенью нашему, и тихая равнина,
Его названье повторяет — Конкорд[123]*

Фичбургская железная дорога проходит возле самого пруда, на расстоянии трети мили к югу от моего жилища. Я обычно хожу в поселок вдоль ее полотна, и оно как бы связывает меня с человеческим обществом. Бригады товарных поездов, идущих до конечной станции, кивают мне, как старому знакомцу; они видят меня так часто, что наверное принимают за железнодорожного служащего; так оно и есть. Я тоже очень хотел бы чинить пути где-нибудь на земной орбите.

Свисток паровоза слышен в моем лесу летом и зимой; он похож на крик ястреба, парящего над птичьим двором, и оповещает меня о приезде множества беспокойных купцов из столицы или предприимчивых негоциантов с противоположной стороны. Мчась друг другу навстречу, они криком предупреждают друг друга, чтобы уступил дорогу, и этот крик слышен иной раз на оба города. «Эй, деревня, вот тебе бакалейный товар!» «Вот на твою долю». И нет на ферме человека, который мог бы от него отказаться. «А вот тебе взамен», — возвещает свисток встречного поезда из деревни, и к стенам города со скоростью двадцати миль в час устремляются бревна, точно длинные тараны, и столько стульев, что можно посадить на них всех усталых и обремененных городских жителей. Деревня с тяжеловесной вежливостью придвигает городу стул. Со всех индейских холмов дочиста обирают чернику, со всех лугов — клюкву, и все это доставляется в город. В город везут хлопок, из города — ткани; в город идет шелк, из города — шерсть; в город везут книги, но из города устремляются их сочинители.

Когда мне встречается паровоз с вагонами, несущийся, как планета, точнее, как комета, потому что орбита его непохожа на замкнутую кривую, и зрителю может показаться, что он пролетит и больше не появится в нашей солнечной системе; когда облако пара вьется за ним золотыми и серебряными кольцами, напоминая мне многие виденные мной настоящие облака, развертывающие высоко в небе свои пушистые клубы, точно этот стремительный полубог, этот тучегонитель[124] готов увлечь за собой все закатное небо; когда я слышу, как Железный конь громовым фырканием будит эхо в холмах, сотрясает своей поступью землю и пышет из ноздрей огнем и дымом (хотел бы я знать, какой крылатый конь или огненный дракон попадет в нашу новую мифологию), — мне кажется, что явилось, наконец, племя, достойное населять землю. Если бы все было так, как кажется, и покоренные силы природы служили человеку для благородных целей! Если бы облако, висящее над паровозом, было дыханием героических подвигов, или несло в себе ту же благодать, как то, что плывет над посевами фермера, тогда стихии и вся Природа радостно сопутствовали бы человеку во всех его делах.

Я встречаю утренние поезда с тем же чувством, что и восход солнца, — они появляются почти так же точно. За ними стелются клубы дыма, подымаясь все выше; дым идет к небу, а

поезд — к Бостону; дым на миг скрывает солнце и бросает тень на мое отдаленное поле, клубы его мчатся подобно некоему небесному поезду и маленький поезд, жмущийся к земле, по сравнению с ним — лишь зубец на конце копья. Конюх железного скакуна рано поднялся в это зимнее утро, еще при свете звезд над горами, чтобы задать ему корм и запрячь его. Рано пробудили и огонь, который его согрел и дал ему ход. Если бы все это было так же невинно, как и рано! Когда выпадает много снега, его обувают по-особому, и этим гигантским плугом пропахивают борозду от гор до морского побережья, а вагоны, следуя за ним, как сеялка, высевают в эту борозду всех беспокойных людей и весь товар, находящийся в обороте. Целыми днями летает по стране огненный конь, останавливаясь для того, чтобы дать отдохнуть своему хозяину, и его топот и дерзкое фыркание будят меня в полночь, когда он, заснеженный и обледеневший, борется со стихиями где-нибудь в дальних лесных долинах. Он прибегает в стойло лишь на рассвете, чтобы снова пуститься в путь, без сна и отдыха. Только иногда, ночью, я слышу, как он, отдуваясь, выпускает из себя лишнюю энергию, чтобы остыть и успокоиться и на несколько часов забыться железным сном. Если бы все это было так же героично и значительно, как длительно и неутомимо!

Через пустынные леса в окрестностях городов, куда прежде проникал, и то днем, один лишь охотник, бегут темной ночью ярко освещенные вагоны с ничего не ведающими пассажирами; то остановятся у залитого светом городского вокзала, где собралась целая толпа, то в Болоте Уныния,[125] где они вспугивают сов и лисиц. Приход и отправление поездов являются теперь главными событиями сельской жизни. Они уходят и приходят с такой регулярностью и точностью, и свистки их слышны так далеко, что фермеры ставят по ним часы, и жизнь всей округи подчиняется этому четкому ритму. Разве не стали люди пунктуальнее с появлением железных дорог? Разве не научились они и говорить, и думать быстрее на вокзале, чем, бывало, на почтовой станции? На вокзале самый воздух насыщен электричеством. Я удивляюсь, каких он натворил чудес — некоторые мои соседи, которые, я готов был поручиться, ни за что не поехали бы в Бостон на такой быстроходной машине, оказываются тут как тут, едва ударит вокзальный колокол. Сейчас принято все делать «по железнодорожному»; очень полезно, когда вам так часто и так решительно велят убираться с дороги. Тут некогда оглашать закон о бунтах или давать предупредительный залп поверх голов толпы. Мы построили нечто роковое, создали *Атропос*,[126] ту, что не сворачивает со своего пути (так бы и следовало назвать паровоз). Людей оповещают, что в такой-то час и минуту стрела полетит по тому или иному направлению, но это никому не мешает заниматься своим делом, и по второму пути дети идут в школу. Жизнь стала даже устойчивее. Всех нас воспитывают, как сыновей Телля[127]. Воздух полон невидимых стрел. Каждая тропа, кроме вашей, — тропа судьбы. Так держитесь уже лучше своей.

В торговле мне нравится смелость и предприимчивость. Она не воздевает молитвенно руки к Юпитеру. Я вижу, как эти люди ежедневно делают свое дело бодро и отважно, делают даже больше, чем предполагают, и приносят, быть может, больше пользы, чем сами могли бы сознательно придумать. Я меньше удивляюсь героизму тех, кто полчаса простоял на передовой линии в Буэна Виста,[128] чем стойкому, неунывающему мужеству тех, кто проводит зиму в снеговом плуге; ибо они обладают не только предрассветным мужеством, которое Бонапарт считал самым редким, но тем мужеством, которого хватает надолго, которое спит лишь когда стихает буря или заморожены мышцы стального скакуна. Сегодня, в день Великого Снегопада, когда метель бушует и леденит нам кровь, я слышу сквозь

туман, образуемый их дыханием, приглушенный звон паровозного колокола, возвещающий, что поезд *идет*, и без опоздания, нагло северо-восточному ветру и снежному бурану Новой Англии; я вижу обледеневших и запорошенных снегом пахарей; их плуг выворачивает кое-что потяжелее, чем маргаритки или гнезда полевых мышей,[129] а головы видны над отвалом, открытые всем ветрам, как валуны Сьерры-Невады.

Торговле присуща удивительная уверенность, спокойствие, бодрость, предприимчивость и неутомимость. К тому же, она куда естественнее многих сентиментальных экспериментов и фантастических прожектов; вот откуда ее поразительные успехи. Когда мимо меня грохочет товарный поезд, на меня веет свежестью и простором; я ощущаю запахи всех товаров, которые он развозит на своем пути от Лонг-Уорфа до озера Шамплейн,[130] и они напоминают мне о дальних краях, о коралловых рифах, об Индийском океане, о тропиках и о том, как велика наша земля. Я больше чувствую себя гражданином при виде пальмовых листьев,[131] которые летом будут защищать от солнца столько белокурых голов в Новой Англии, при виде манильской пеньки, скорлупы кокосовых орехов, канатов, джутовых мешков, металлического лома и ржавых гвоздей. Груз старых парусов сейчас говорит мне больше, чем тогда, когда он превратится в бумагу и печатные книги. Кто может красноречивее рассказать о пережитых бурях, чем этот продранный холст? Это корректура, не требующая правки. Вон идет из штата Мэн лес, который не был отправлен морем в последнее половодье и поднялся в цене на четыре доллара за тысячу, потому что много его унесло или расколело; вон сосна, ель, кедр — первого, второго, третьего и четвертого сорта, — а давно ли все они были одного сорта и давали приют медведю, лосю и канадскому оленю? Вон везут известь из Томастона — отличный товар, ее отвезут в горы и там будут гасить. Вон лоскут в мешках, всех цветов и качества, последняя ступень падения для бумажной и льняной ткани, последняя фаза превращения платьев, которые уже не расхваливают, разве только в Мильвоки, как отличные изделия из английских, французских и американских ситцев, шотландки, муслина и т. п. Они собраны отовсюду, от модниц и от нищенок, а все одинаково превратятся в одноцветную бумагу, на которой, — подумать только! — будут написаны повести из подлинной жизни, и богатой и бедной, и все они будут основаны на фактах! А вон тот закрытый вагон издает запах соленой рыбы, характерный запах Новой Англии и ее торговли, напоминающий мне о Большой Банке[132] и рыбных промыслах. Кто не знает соленой рыбы, насквозь провяленной и гарантированной от порчи, более нетленной, чем любые мощи? Она так тверда, что ею можно мести или мостить улицы и колоть лучину; возчик вместе с грузом может укрываться ею от солнца, дождя и ветра, а лавочник, открывая торговлю, может, как это сделал однажды некий лавочник в Конкорде, повесить ее над дверью вместо вывески, и самый опытный покупатель не распознает, что это за штука — животное, растение или минерал; и при всем том она остается чище снега, а будучи положена в кастрюлю и сварена, превращается в отличное рыбное блюдо для субботнего обеда. А вот испанские кожи, где хвосты все еще лихо закручены и задраны, как в те времена, когда носившие их волю скакали в пампасах Южной Америки, олицетворяя собой упрямство и показывая, как безнадежно неисправимы все врожденные пороки. Признаюсь, что, узнав характер человека, я уже не надеюсь изменить его к лучшему или худшему до самой его смерти. Как говорят на Востоке: «Сколько ни парь, ни утюжь, ни подвязывай собачий хвост, он через десять лет будет все так же торчать закорючкой». Ничего с этими хвостами не поделаешь, разве только пустить их на клей, — именно так, кажется, и делают, и тут уж они приклеиваются прочно. Вон бочка патоки или бренди,

адресованная Джону Смиту, Каттингсвилль, штат Вермонт, — это какой-нибудь торговец в Зеленых горах, который выписал товар для соседей-фермеров, а сейчас, наверное, стоит у своего ларька и раздумывает о последних грузах, прибывших на побережье, и как это повлияет на цены, и говорит покупателям, как уже говорил раз двадцать, что ждет со следующим поездом первосортный товар. О нем объявлено в «Каттингсвилльской таймс».

Одни товары едут в город, другие — оттуда. Услышав свисток, я подымаю голову от книги и вижу, как несется мимо стройная сосна, срубленная на дальних северных холмах; она миновала Зеленые горы и Коннектикут, за несколько минут стрелой пролетела мимо нашего городка, и никто уже больше не увидит ее, пока она не превратится

...в мачту

Громаднейшего в мире корабля[133]

А это, слышите? — везут скот с тысячи гор,[134] из овечьих загонов, хлевов и коровников, вместе с пастухами и пастушонками, везут все, кроме только самого горного пастбища, и все это несется, как листья, сносимые с гор сентябрьскими ветрами. Воздух наполнен мычаньем телят и блеянием овец, слышно, как переминаются волы, точно в путь тронулась вся сельская долина. И действительно, при звуке колокольчика старого вожака горы прыгают, как овны, а холмы, — как агнцы. В среднем вагоне едут пастухи, теперь уже наравне со своими подопечными; они уже не при деле, но все еще держат в руках ненужные теперь посохи, как знак своей должности. А где же их собаки? Эта гонка им не под силу, они далеко отстали и сбились со следа. Мне чудится их лай за холмами Питерборо или на западном склоне Зеленых гор. Они не успеют. Они тоже теперь не при деле. Их верность, их ум потеряли свою цену. Они бесславно вернуться в свои конуры, а может быть, одичают и заключат союз с волками и лисицами. Так уносится от нас пастушья мирная жизнь. Но слышен звонок, и я должен сойти с полотна, чтобы пропустить поезд:

Мне вовсе не нужен рельсовый путь.

Я не ходил ни разу взглянуть,

Куда он ведет,

Он только и годен — овраги скрыть,

В откосах ласточек приютить,

Вослед ему ветер песок несет,

Да ежевика буйно растет[135]

Но я перехожу его, как перехожу лесную дорогу. Я не хочу, чтобы меня ослепило и оглушило дымом, паром и шипеньем.

Сейчас поезда прошли, и все уgomонилось; грохот уже не тревожит рыб в пруду, и я остаюсь совершенно один. Теперь до конца дня мои размышления изредка прерываются только слабым стуком тележных колес на дальней дороге.

Иногда по воскресеньям, когда ветер благоприятный, я слышу колокола в Линкольне, Эктоне, Бедфорде или Конкорде — нежные, слабые звуки, гармонирующие с природой, достойные моего уединения. На таком расстоянии эти звуки вибрируют, перебирая сосновые

иглы, точно струны арфы. Все звуки, доносящиеся издали, становятся одинаковы, превращаясь в звуки всемирной лиры, подобно тому как воздух окрашивает для нас все отдаленные холмы в нежный голубоватый тон. До меня долетает мелодия, процеженная через воздух и пошептавшаяся с каждым листком и сосновой иголкой в лесу, — та часть звуков, которую природа подхватила, модулировала и передала из долины в долину. Ведь это — тоже своего рода звук, и в этом его очарование. Тут не просто повторение всего лучшего, что есть в колокольном звоне, но также и голос леса, те же знакомые слова и ноты, но пропетые лесной нимфой.

По вечерам отдаленное мычание коровы за лесом звучало нежно и мелодично, и я поначалу принимал его за голоса неких менестрелей, которые иногда пели мне серенады, бродя по холмам и долам, но скоро я был приятно разочарован, когда они оказались обычной, естественной коровьей музыкой. Тут нет никакого сарказма, напротив — высокая оценка пения менестрелей: раз оно показалось похожим на пение коровы, это значит, что оно звучит согласно с Природой.

Ровно в половине восьмого, в определенную пору лета, после вечернего поезда, козодои полчаса служили вечерню, рассевшись на пнях возле дома или на коньке крыши. Каждый вечер они начинали петь почти с точностью часов, ошибаясь не более чем на пять минут, по солнцу. Мне представился редкостный случай наблюдать их повадки. Иногда четыре-пять птиц запевали сразу в разных частях леса, отставая друг от друга на какой-нибудь один такт, и так близко от меня, что мне было слышно не только хлопанье после каждой ноты, но иногда — странное жужжание, точно мухи в паутине, но гораздо громче. Бывало, что одна из них кругами вилась надо мной в лесу, словно привязанная невидимой нитью, — вероятно, я был близко от ее гнезда. Они принимались петь несколько раз в течение ночи и особенно перед рассветом.

Когда смолкают другие птицы, пение подхватывают совы-сипухи, точно древние плакальщицы[136]. Их унылый крик звучит совсем в духе Бена Джонсона. Мудрые полуночные ведьмы! Они издают нечто весьма непохожее на простенькое «ту-уит! ту-уу!», которым их изображают поэты: это настоящая кладбищенская мелодия, жалобы и взаимные утешения любовников-самоубийц, вспоминающих о муках и блаженстве неземной любви в адских пределах. И все же мне нравятся их стенания, их скорбная переключка через весь лес; это тоже птичье пение и музыка, но как бы темная, слезная ее сторона, рвущиеся наружу вздохи и жалобы. Это томительные жалобы, печальные прорицания падших душ, плач тех, кто некогда жил на земле в человеческом образе и творил по ночам темные дела, а ныне искупает свои грехи погребальным пением в тех местах, где они совершились. Они заставляют меня заново ощутить просторы и многообразие Природы — общего нашего жилища. «О, если бы мне никогда не р-р-родиться!» — вздыхает одна из них по эту сторону пруда и, гонимая отчаянием, перелетает на другую ветку серого дуба. «О, если бы мне никогда не р-р-родиться!» — рыдающим голосом откликается ей другая, по ту сторону. «Ро-о-о-диться!» — еле слышно доносится из дальних лесов Линкольна.

Ушастая сова тоже пела мне серенады. Вблизи — это самый унылый звук в Природе, словно она пожелала увековечить в нем предсмертные стоны человека — какого-нибудь несчастного, навеки утратившего надежду; стоя на пороге мира теней, он воет, как

животное, и вместе с тем это человеческие рыдания, особенно жуткие из-за некой булькающей мелодичности. Стараясь воспроизвести их, я невольно обращаюсь к звукам «гл», — они лучше всего выражают студенистое состояние распада, полное омертвление духа, в котором убито все бодрое и здоровое. Звуки эти напоминают о вампирах, об идиотах, о завываниях безумцев. Но вот издали ей откликается другая сова, и, преображенный расстоянием, звук становится даже мелодичным: «У-у-х, ухух». В общем они большей частью навевали мне приятные мысли, когда бы я их ни слышал — ночью или днем, летом или зимою.

Я рад, что на свете есть совы. Пусть они вместо людей возьмут на себя обязанность завывать безумно и дико. Эти звуки удивительно под стать болотам и сумеречным чащам, куда не проникает свет дня; это голос огромной первозданной Природы, не признанной людьми. Он воплощает сумрачные неутоленные желания, которые таятся в каждом из нас. Какое-нибудь глухое болото весь день освещается солнцем, там растет одинокая ель, обвитая бородастым лишайником, вверху кружат ястребки, в вечнозеленых зарослях лепечет синица, прячутся куропатка и кролик; но вот восходит над ним иная, печальная заря, и тогда иные твари подают голос и становятся здесь толкователями Природы.

Поздно вечером я слышал дальний грохот телег по мостам — этот звук по ночам разносится всего дальше — лай собак и иногда опять-таки мычанье какой-нибудь безутешной коровы на отдаленном скотном дворе. Тем временем берег озера оглашается кваканьем лягушек. Это души давних пьяниц и гуляк, донине нераскаянные, пытаются спеть песню в своих стигийских водах[137] — да простят мне это сравнение уолденские нимфы, ибо хотя тростника здесь почти нет, зато водятся лягушки, — они стремятся соблюсти все обычаи своих прежних пиров, хотя голоса их охрипли и стали печальны и не годятся для застольных песен, а вино утратило букет и только раздувает им брюхо, и вместо блаженного хмеля, несущего забвение прошлого, они наливаются водой. Вот у северного берега один из квакунов, похожий на ольдермена, уперев подбородок в лист кувшинки вместо салфетки и пуская туда слюну, отпивает глоток некогда презренной воды и передает чашу дальше, восклицая «тр-р-роник! тр-р-ронк!»; и тотчас из дальней заводи откликается тем же паролем второй по старшинству и пузатости, давая знать, что и он отпил до положенной ему отметки,[138] а когда торжественный ритуал обойдет весь берег, церемониймейстер удовлетворенно крякает «тр-р-ронк», и снова подтверждает это каждый квакун по очереди, вплоть до самого мелкого, наименее пузатого и раздутого, чтоб уж не оставалось сомнений. И снова движется круговая чаша, пока солнце не рассеет утренний туман и на поверхности пруда не останется один патриарх, который еще восклицает по временам «тр-р-ронк!» и напрасно ожидает ответа.

Не помню, чтобы до меня долетало пение петуха, и я подумывал завести его хотя бы ради пения, как заводят певчую птицу. Этого некогда дикого индийского фазана несомненно стоит разводить, и если бы его можно было акклиматизировать у нас, не превращая в домашнюю птицу, его голос стал бы самым примечательным из лесных звуков, затмив клекот гусей и уханье сов, — а какое кудахтанье подымали бы куры, заполняя паузы между трубными звуками своего повелителя! Неудивительно, что человек приручил куриное племя, не говоря уж о яйцах и вкусных куриных ножках. Как хорошо было бы пройтись зимним утром по лесу, изобилующему этими птицами, и слышать, как с деревьев далеко и звонко разносится пение дикого петуха, заглушая тихие песни других пернатых. Это держало бы

людей в готовности. Всякий старался бы встать пораньше, с каждым днем все раньше и раньше, пока не стал бы несказанно здоровым, богатым и мудрым[139]. Пение этой привозной птицы воспето поэтами всех стран наряду с певцами их родных краев. Бравый Шантеклер прижился во всех широтах. Он повсюду свой, даже больше свой, чем туземцы. Он всегда здоров, у него богатырские легкие и бодрый дух. Его голос будит даже моряка[140] в Атлантическом и Тихом океанах и только меня ни разу не пробуждала его звонкая песня. Я не держал ни собаки, ни кошки, ни коровы, ни свиньи, ни кур, и вы, пожалуй, скажете, что мне не хватало привычных домашних звуков; меня не улаждали ни маслобойка, ни прялка, ни даже посвистыванье чайника или бульканье котелка или детский плач. Человек старых привычек сошел бы с ума или умер с тоски. Даже крысы не скреблись в стенах; я выморил их голодом или, вернее, не приманил с самого начала; у меня водились только белки на крыше и под полом, козодой на коньке крыши, крикливая сойка под окном, заяц или сурок под домом, сова-сипуха или ушастая сова за домом, стая диких гусей или гагара на пруду, а по ночам лаяла лисица. Даже жаворонки и иволги, кроткие гости полей, никогда не залетали на мою вырубку. Во дворе не пел петух и не кудахтали куры. Да и двора не было! — неогороженная Природа лезла прямо на подоконники. Под окнами рос молодой лес, а из погреба прорастали дикий сумах и ежевика; крепкие смолистые сосны со скрипом терлись о кровлю, требуя, чтобы я потеснился, и пускали под дом корни. Когда подымался ветер, он не срывал мне ставен или крышку люка, а ломал или вырывал с корнем сосну за домом, специально мне на дрова. Когда валил снег, он не заносил дорожку к воротам, потому что у меня не было ни ворот, ни дорожки — никакой тропы в цивилизованный мир!

Версия #1

Зверобой создал 10 апреля 2025 22:03:22

Зверобой обновил 10 апреля 2025 22:04:31